

Друзья и встречи

СТАРОГЛАДОВЦЫ

Сырым осенним утром на усталой кляче ночного извозчика-старика, в ободранной пролетке я тащился по безлюдным переулкам между Пречистенкой и Арбатом. Был девятый час утра. Кухарки с корзинками, полными провизии, семенили со Смоленского рынка; двое приготовишек неторопливо путались в подолах своих серых шинелей, сшитых с расчетом на рост... На перекрестке, против овощной лавки, стояла лошадь и телега на трех колесах; четвертое подкатывал к ней старичок-огородник в белом фартуке; другой, плотный, бородатый мужчина в поношенном пальто, высоких сапогах и круглой драповой шапке, поднимал угол телеги. Дело, однако, не клеилось. Толстая лавочница, стоявшая у двери в лавку, равнодушно лушила подсолнухи, выплевывая скорлупу на узенький тротуар. На земле валялся картофель, выпавший из телеги, — а ей и горя мало! Лушит да поплеывает. Я прыгнул с пролетки, подбежал, подхватил ось, а старателя в драповой шапке слегка отодвинул в сторону:

— Пусти, старик, я помоложе!

Я поднял угол телеги, огородник ловко закатил колесо на ось и воткнул чеку. Я прыгнул обратно в пролетку. Поехали.

Мой извозчик, погоняя клячу, смеялся беззубым ртом и шамкал, указывая кнутом назад:

— Граф-то как старается!

- Какой граф?
 - Да вон, у телеги.
- Я оглянулся.

Оба старика подбирали с мостовой картофель. Лавочница по-прежнему лушила семечки.

— И чего только ему надо? К нам в Дорогомилово приходил надясь работать. Наш хозяин, Козел, два пятака дров купил, свалил их на улицу и нанял нас перетаскивать во двор и уложить в поленницы, а граф — тут как тут: давайте, говорит, ребята, я помогу... Мы дрова таскаем, а он укладывает. Поработал и денег не взял. Потом наши ребята его видели на Красном лугу: с золоторотцами из «Аржановки» тоже дрова укладывал...

Старик болтал всю дорогу, пока я не отпустил его на Арбате. Но и получив деньги, он все продолжал говорить:

— Свой дом в Хамовницком переулке, имение богатое... Настоящий граф — Толстов по фамилии...

Я тогда не обратил внимания на слова старика и тотчас забыл о них.

Прошло два года. Я работал в «Русских ведомостях». Они еще помещались в наемной квартире, в доме Мецгера, как раз на переломе несуразного Юшкова переулка между Мясницкой и Сретенкой.

Редакция помещалась в доме, выходящем на улицу, а типография занимала большой корпус в глубине двора. Вот туда-то я и шел, чтобы сдать в набор заметки. Происходило это утром, когда в редакции обычно никого не бывало.

Впереди меня к редакционному подъезду подошел плотный человек в поношенном драповом пальто, высоких сапогах и драповой шапке, как-то знакомо нахлобученной. И вся фигура сзади показалась мне знакомой: видал где-то! Человек входил в подъезд, когда я шел мимо.

Затворяя дверь, он на миг повернулся, и я увидел бородатое лицо. Где я его видел? Пробыв минут пять в типографии, я забежал в редакцию посмотреть газеты. Швейцар в очках читал «Московский листок».

— Никого еще нет?

— Никого. Вот сейчас только Лев Николаевич заходил, спрашивал Василия Михайлыча¹.

— Кто?

— Граф Толстой... Да как вы его не встретили? Сей минут вышел.

А! Так вот кому я когда-то помог колесо надеть!

Я совершенно забыл об этой встрече, да и думать никак не мог, что знаменитый писатель ходил в Дорогомилово дрова в пятерики укладывать и одевался так бедно. Я полагал, что он живет в своей Ясной Поляне, и не знал, что к тому времени, когда мы встретились, он уже переехал в Москву.

Познакомился я со Львом Николаевичем уже в собственном доме редакции, в Чернышевском переулке, и потом встречался не раз, но, конечно, никогда не напоминал ему о первой встрече. Раза два по утрам я встречал его, всегда одного, на утренних прогулках. Зная мое прошлое по рассказам и очеркам в «Русских ведомостях», он всегда меня спрашивал о бурлацкой жизни, о степях, об охоте на Кавказе.

Как-то (это было в конце девяностых годов) я встретил Льва Николаевича на его обычной утренней прогулке у Смоленского рынка. Мы остановились, разговаривая. Я шел в редакцию «Русской мысли», помещавшуюся тогда в Шереметевском переулке, о чем между прочим сообщил своему спутнику.

— Вот хорошо, напомнили, мне тоже надо туда зайти.

Пошли. Всю дорогу на этот раз мы разговаривали о трущобном и бродяжном мире. Лев Николаевич

¹ Соболевского.

расспрашивал о Хитровке, о беглых из Сибири, о бродягах. За разговором мы незаметно вошли в редакцию, где нас встретили редакторы В. М. Лавров и В. А. Гольцев.

При входе Лев Николаевич мне сказал:

— Я только на минуточку.

И действительно, хотя Лавров и Гольцев просили Льва Николаевича раздеться, но он, извинившись, раздеться отказался и так и стоял в редакции в шапке, с повязанным сверх нее башлыком.

Весь разговор продолжался не более двух-трех минут, и мы вышли.

День был морозный, что-то около двадцати градусов; у Льва Николаевича заиндевели борода.

— А у меня к вам просьба. Вы этот мир хорошо знаете, и я даже думал о вас и очень рад, что мы встретились. Дело в следующем. Я получил на этих днях очень интересную рукопись из Сибири: арестант один рассказывает о своей жизни... Очень занимательно и литературно написано. Просит напечатать и, конечно, желает что-нибудь получить. Я прочел рукопись внимательно, но мне некогда заняться ею как следует. Посмотрите ее и отдайте куда-нибудь в газету. Если заплатят ему рублей десять-пятнадцать, и то хорошо.

Рукопись на следующий день принес мне сын Льва Николаевича, Андрей Львович. Я внимательно прочел ее. Она имела дату: «18 октября 1899 г., Каинск, Томской губ.». В начале и в конце было обращение к Льву Николаевичу, а посередине помещалась интереснейшая исповедь арестанта Лизгаро.

Внизу последней страницы стояло три адреса: самого Лизгаро — Каинский острог; жены его, Беляевой-Лизгаро, — Таежная, и г-жи Л-й — Каинск, для передачи Лизгаро.

Обращение к Льву Николаевичу заканчивалось словами:

«Согласен все то, что изложено, пустить в печать, если нужно, переделать и исправить фамилии действующих лиц, пишу с целью материальной поддержки голодающей семье».

Прочитав рукопись Лизгаро, о деяниях которого я слышал раньше от корнета Савина, тогда уже осторожной «знаменитости», я на следующий же день переслал ему двадцать пять рублей, упомянув в письме, что рукопись получил от Льва Николаевича, а сам отправился к Толстому и сказал об этом, отдав почтовую квитанцию.

— Зачем вы сами это сделали? И так много добавок! Лучше бы напечатать. Интересно!

Я кое-что знал о Лизгаро и ответил Льву Николаевичу, что в письме слишком многое присочинено и обо многом недосказано.

— Все равно интересно, прочиталось бы. Во всяком случае, очень вам благодарен. Да ему, думаю, больше ничего и не нужно, кроме денег.

И Лев Николаевич оказался прав. Вскоре я получил от Лизгаро из тюрьмы благодарственное письмо, из которого было видно, что он очень доволен, о чем я и сообщил Льву Николаевичу.

— Я был в этом уверен, — сказал он и добавил: — А все-таки когда-нибудь напечатайте!

Украинский ученый, исследователь Запорожья Д. И. Эварницкий тогда читал в Московском университете «историю Малороссии» и часто просил меня:

— Ты знаком с Львом Николаевичем Толстым, бываешь у него, сведи меня когда-нибудь к нему. Моя заветная мечта — повидать его.

И вот однажды, после такой просьбы, я предложил Эварницкому поехать сейчас же (было около семи часов вечера), но он отказался:

— Надо его предупредить, а то вдруг так, сразу...

Но я уговорил Эварницкого, и через полчаса мы были уже в хамовническом доме и поднимались наверх, послав заранее визитные карточки. Мы вошли в кабинет. Лев Николаевич встал с кресла, поднял руки вверх и, улыбаясь, сказал:

— Вот они, запорожцы! Здравствуйте!

Мы просидели более часа. Эварницкий заинтересовал Льва Николаевича своими рассказами о Запорожье. Лев Николаевич, в свою очередь, припоминал о своей жизни у гребенских казаков, а потом разговор перешел на духоборов и штундистов. Последних Эварницкий знал очень хорошо.

Но мне слушать этот совершенно неинтересный для меня разговор было скучно. Я вынул табакерку, хлопнул двумя пальцами по крышке, открыл и молча предложил Льву Николаевичу. Он тоже молча взял табакерку у меня из рук, заправил изрядную щепотку в свой широкий нос — в одну и тотчас же в другую ноздрю, — склоняя при этом голову то вправо, то влево, и громко чихнул. Эварницкий, перебитый, должно быть, на самом интересном месте своего повествования, удивленно посмотрел на него, но Лев Николаевич уже справился и, закрыв табакерку, проговорил:

— Ну и крепок!

Он чихнул в платок и обратился к Эварницкому:

— Я ведь только у него и нюхаю. Очень табак хорош! Боюсь, как бы не привыкнуть!

И снова чихнул, затем передал мне табакерку, погладив ее, как всегда, по крышке, и опять обратился к Эварницкому:

— А знаете, профессор, если бы все курильщики бросили курение и перешли на нюханье, наполовину бы у нас меньше пожаров было и вдвое больше здоровых людей...

Как-то раз я встретил Льва Николаевича на Моховой. В это время Общество искусств и литературы, вылившееся потом в Художественный театр, ставило в Русском охотничьем клубе чеховские одноактные пьесы. Лев Николаевич указал мне афишу на столбе:

— «Медведь» Чехова! С каким бы удовольствием я посмотрел его пьески, да не хочется в клуб идти на спектакль.

— А вы на репетицию. Как раз завтра его пьесы репетируют, меня Арбатов¹ вчера приглашал.

— Да, но у меня знакомых там нет. А пошел бы...

— Позвольте мне завтра заехать за вами к семи часам вечера?

И вот на следующий день я велел моему постоянному извозчику Дунаеву подавать к шести часам вечера. Надо сказать, что Ваня Дунаев ездил со мной помесечно. Извозчики звали его Ванька Водовоз за необыкновенную силу, а я называл его Берендей, потому что он был из Пятницы-Берендеево, извозчичьей подмосковной местности. Я ездил с ним на рискованные репортерские приключения по разным трущобам совершенно спокойно: малый был удалой и всегда трезвый, потому что его ничем нельзя было спить... Он бывал со мною на скачках и бегах, знал всех лошадей и любил о них поговорить.

Вышел я и увидел: лошадь новая, крупный орловский рысак, только очень подержанный: передними ногами тронут — козинец, колени дрожат.

— Это откуда?

— Новокупочка. Сегодня с конной, вперворяд запряг... С бусырью малость, а резов. Бессекундный!.. На бегах ходил, аттестат есть с гербом! Прямо по нашей езде: урвать да уехать... Сто двадцать дал. Двадцать задаток, а остальные по понеделникам.

¹ Режиссер.

Тогда московские барышники продавали в долг извозчикам лошадей с уплатой по пяти рублей каждый понедельник и наживали за эту рассрочку пятьдесят процентов.

Выбрались мы на Тверской бульвар — и понеслись. Огромный, мешковатый Ванька Водовоз из простого погонялки преобразился в лихача. Лошадь держит на коротких вожжах, руки вытянул и только покрикивает, чтоб дорогу давали.

Через десять минут мы были в Хамовническом переулке. По-видимому, нас ждали — дворник тотчас же отворил ворота. Меня провели в столовую, где вся семья была в сборе. Все пили чай, но Льву Николаевичу не дали, чтобы не простудился. Он ел гречневую размазную.

Софья Андреевна все меня уговаривала ехать поосторожнее.

— Будьте спокойны, и назад привезу, — успокаивал я.

— Нет, об обратном пути не беспокойтесь, за ним дети заедут.

Провожать нас высыпали все в переднюю. Стали одевать Льва Николаевича. Начали с валяных калош, потом теплый тулуп, подпоясали, подняли воротник, нахлобучили теплую шапку, повязали сверху башлык. Получилась фигура необъятная, а санки у меня были полулихацкие, узкие и притом без полости. Мне ездить с полостью было неудобно, так как то и дело приходилось соскакивать с саней, а холода я не боялся. Мой Берендей был единственным извозчиком во всей Москве без полости, даже при обер-полицмейстере Власовском, который ввел одинаковую «форму» для извозчиков и их экипажей и, между прочим, требовал, чтобы у всех саней имелась полость. Полиция беспощадно штрафовала нарушителей этих правил. Мне пришлось лично ездить к Власовскому, чтобы сняли с моего Дунаева штраф и разрешили ему ездить со мной без полости. Штраф Власовский приказал снять, но ез-

дить без полости так и не разрешил, найдя, впрочем, чисто полицейский, хитроумный выход:

— Нарушить свой приказ не могу: полость обязательно должна быть на санях. Но вы можете не употреблять ее, пусть ваш извозчик сидит на ней...

И Ванька очень гордился, что он ездит без полости, а другие извозчики ему завидовали.

Уступил я Льву Николаевичу три четверти сиденья, а сам кое-как примостился и полувисел в воздухе, крепко обняв талию в необъятном тулупе.

Летим переулком, Лев Николаевич сквозь шарф и воротник бурчит:

— Это только в Москве такое приличие... Ездят обнявшись. То и дело видишь — облапит даму, и катят...

Не успел он договорить, как мы выскочили рысью на Девичье поле и — прямо в ухабы! Тах!.. Тах!..

— Ну что, Лев Николаевич, если б я вас не обнял?..

— Да, вы правы, только уж очень быстро мы едем. Я люблю быструю езду... но это слишком!

— Ваня, как зовут твою лошадь?

— Птичек... Потому мать его была Птичка... В аттестате прописано.

— Ну, так с сегодняшнего дня зови его не Птичек, а Холстомер. В память того, что Льва Николаевича возил... У него есть «Холстомер».

Лев Николаевич что-то забурчал, но я не мог разобрать его слов.

Через несколько минут запаренная лошадь стояла, дрожа коленями и шпатуя задней ногой, на полукруглом возвышении перед подъездом, и швейцары клуба в казакинах и бараньих папах с красным верхом высаживали, вводили почетного гостя и распаковывали его.

Я шепнул конторщику, чтобы он передал актерам, Арбатову или Лужскому, что я привез Льва Николаевича.

А он жал мне руку, что-то хотел сказать, а потом устался на выстроившихся около вешалок швейцаров: рослые, красивые, в черных мохнатых папахах.

— Какие молодцы! Ну, прямо — старогладовцы!

Мы вошли в приемную. Из зала высыпали артисты и с великим почетом приветствовали неожиданного и дорогого гостя.

Пребывание Льва Николаевича Толстого в дни его юности в гребенских казачьих станицах, впечатления, рожденные в широкой вольной душе особыми условиями боевой и свободной жизни среди опасностей и патриархальной простоты казачества, ярко отразились на всем его последующем творчестве. Вспомним его произведения: «Казаки», «Набег», «Рубка леса», «Встреча в отряде». Вечное его стремление опроститься зародилось там же, в этих станицах, среди самобытных людей. Я думаю, что и умереть ему хотелось там же.

Недаром ведь, когда через шестьдесят лет после того, как он жил в этих местах, Толстой ушел из Ясной Поляны, покинул роскошь, славу и почет, железнодорожный билет, найденный в его кармане, был до Владикавказа: он стремился в казачьи станицы! Там, на воле, в жизненной простоте, в тихой пустыне, он искал, видимо, последнего покоя... Эти глухие станицы гребенские до самой революции хранили старинный уклад во всей его неприкосновенности, с казачьими обычаями, которые так ярко описаны Львом Николаевичем в его чудесной повести «Казаки».

Мне посчастливилось найти человека, который помнил Льва Николаевича, когда тот жил в Старогладовской станице.

И вот его-то рассказы я вполне точно и передаю здесь. Это единственный современник, который мог что-либо рассказать о жизни Льва Николаевича в то время, когда на него обращали внимания столько же, сколько на всякого юнкера, стоявшего со своей частью

в станицах. А там солдат недолюбливали, особенно в гребенских станицах, населенных старообрядцами своеобразно строгой жизни, соблюдавшими свои обычаи и верования.

В своем письме к графу Сергею Николаевичу Толстому от 23 ноября 1853 года Лев Николаевич, между прочим, упоминая о своем брате Николае, который увез из станицы гончих собак, говорит:

«Мы с Епишкой часто называли его за это „швиньей“».

Этот Епишка, неразлучный друг Льва Николаевича, удалец-казак былых времен, и есть тот самый Ерощка, который выведен как живой в повести «Казачьи». И тот сверстник Льва Николаевича, о котором я говорю, хорошо помнил Епишку и много мне о нем рассказал.

Эту встречу я записал подробно в Эссентуках в 1910 году и здесь передаю в том виде, как я набросал ее тогда под свежим впечатлением.

Эссентуки, 19 июня.

Редко бывают такие встречи. Давно обратил мое внимание старый горец, офицер с солдатским Георгием и кавказским крестом. Мы разговорились. Оказался — исконный гребенской казак Кирилл Григорьевич Синюхаев, родом из Старогладовской станицы. Я знал, что это и есть та самая Новомлинская станица, которая описана в повести «Казачьи».

Я помню, что несколько лет назад к Льву Николаевичу приезжал гребенской казак-офицер, — но то был молодой человек, а мой собеседник — однополок Льва Николаевича, ему далеко за семьдесят, но это бодрый, энергичный старик, на вид гораздо моложе своих лет. Гляжу на него и радуюсь: голова белая, как снеговая вершина, а сам сухой, стройный, как тростник. Заговорили о Льве Николаевиче.

— Как же! Я очень, очень хорошо помню Толстого. В 1845 году к нам в станицу перебрались старообряд-

цы с Украины и полстаницы новой построили. Так он сначала по приезде поселился в новой, а потом к нам перешел. У нас стояла двадцатая артиллерийская бригада, в ней его брат был офицером. Только он с братом не жил, а отдельно, у казака Сехина квартировал. У нас много Синюхаевых и Сехиных, и все родня меж собой. Так Толстой — у нас его все Толстов звали — поместился у богатого Сехина, а рядом жил другой брат Сехина, друг Толстого, дядя Епишка, охотник и джигит, каких теперь нет, да и прежде едва ли где другой такой отыскался. Знатный казак был дядя Епишка. Жил он одиноко, со своими собаками да ястребами и с разным зверьем прирученным, — у него в хате так они и помещались. Любили и уважали его все вокруг, да не то что мы одни, а и чеченцы и ногайцы... К немирным в аулы, бывало, хаживал, и везде его принимали как почетного гостя. А говорил он всем одно и то же: «Все живем, а потом умрем. Люди не звери, — так и драться людям не надо. Вот зверя — того бей!» Так и жил он: либо на охоте, либо с балалайкой. В праздник разрядится, бешмет красный шелковый наденет — немирные князя Гирей подарили, — чувяки и ноговицы, серебром расшитые. Папаха у него была волчья или лисья, каких, кроме него, никто не носил. И обязательно с балалайкой и без оружия. Ростом в сажень, силищи непомерной. Каким я-то его помню, — так ему уже под семьдесят было. А выпьет, бывало, чихиря с полведра да в хоровод — поет и пляшет. А как плясал! «Дядя Епишка, еще!» — просят его.

«А ну-ка, швинья, тащи чапуру чихиря». Принесут, выпьет — и опять поет и пляшет да на балалайке звенит. Такой Епишка в праздник бывал. А в будни — суровый, ни с кем слова не скажет. Тогда носил он старый бешмет, козловой кожи штаны, поршни буйволодые, папаху старую волчью, на плечах шкуру звериную вверх шерстью, а в руках у него была всегда винтов-

ка с золотой насечкой, — промаха он из нее по зверю никогда не делал. В те времена порох и свинец были дороги, состязаний в стрельбе не устраивали, ну да и промахов не давали...

Мимо нас в эту минуту проходил огромный, широкоплечий кубанец.

— Куда повыше и пошире его был дядя Епишка! — сравнил рассказчик.

И тут смог я представить себе, какой в самом деле был богатырь, этот друг Льва Николаевича...

— И, кроме охоты, ничем он не занимался. Был у него и крест Георгиевский, но никогда он его не надевал, а носил только засаленную ленточку на старом бешмете, да и то так, чтобы людям видно не было, для себя носил ее. О прежних своих отличиях не любил говорить, а старики про него чудеса рассказывали; славный был джигит, но потом от войны отказался: почему — никто не знал.

Веселый, мягкий был человек. И никого никогда ни словом, ни делом не обижал, разве только швиньей, бывало, назовет. Со всеми дружил и всем говорил «ты». Никому не услуживал, а любили его все. Слушать его рассказы, песни сбегалась вся станица. Голос сильный, звонкий.

На станичные сборы не ходил, общественных дел не касался: «Я сам по себе. Я одинец», — знал лишь свое ружье, охоту, сети, попить да погулять. Для одного Толстого только и делал исключение: любил его. Кунаки были, на охоту с собой никогда и никого, кроме Толстого, не брал. Бывало, у своей хаты варит кулеш, на камешках казанок ставит, и Толстой тут же сидит, — варят кулеш и вдвоем едят. Или идут с Толстым вдвоем с охоты — оба дичью увешаны, сумки набиты, за плечами ружья и шаталы. Походка легкая, а в самом пудов десять веса! На коне, как я его помню, никогда дядя Епишка не ездил, всегда пешком ходил. Говорил

по-кумыкски, по-ногайски, у немирных князей Гиреев в гостях бывал, и все его любили, даже при нем марушки чадрой не закрывались. Горцы с ястребами охотились, так дядя Епишка вынашивал ястребов и продавал им за большую цену.

— Скажите, Кирилл Григорьевич, а вы хорошо помните Толстого?

— Как сейчас вижу.

— Вы помните повесть «Казачи»?

— Чуть не наизусть. Ведь мы все ею зачитывались...

Так и говорили: «Пишет наш Толстов».

— С кого он писал Лукашку?

— Лукашка был у нас сапожник. А того джигита не Лукашкой звали. Забыл я его имя... Да ведь тогда все у нас такие, как Лукашка, были, — все такие джигиты.

— А Марьяна?

— Не так давно умерла... — Потом стал он вспоминать дальше: — Помню я, у Толстого в конюшне были хорошие лошади — гнедая и чалая. Выведут, разгорячат лошадь, а он вскочит на нее и скачет по станице... Лихой джигит был. Только ведь потому все и обращали внимание на Толстого, что он джигит был да с дядей Епишкой дружил, а то разве знал кто, что он такой будет после! У меня-то в памяти еще потому, что мы жили рядом... Помню, он сначала у Глушка на Новой улице жил, а потом к Сехину, родному брату дяди Епишки, переехал, к Михаилу Петровичу. А это рядом с нами. Потом уж, когда Толстой офицером был, рассказывали, что он в набегах отличался. За Старый Юрт ходил со своей батареей, потому о нем тогда и говорили. А если не был бы джигит, кто бы на него внимание у нас обратил?

— Кто-нибудь, кроме вас, в станице помнит Льва Николаевича?

— Едва ли. Разве Ергушевы. Так уж ему, старому, больше восьмидесяти лет.

— Знакомая фамилия — Ергушев. В «Казаках» ее упоминает Лев Николаевич.

— Ну да, который пьяный-то казак лежит. Это он с натуры взял и настоящей фамилией назвал. Любитель выпить был Ергушев... Родственник наш.

— Скажите, Кирилл Григорьевич, в станице узнали после, какой Толстой жил у вас?

— Конечно. Давным-давно, после первых произведений. И книги его все читали, и в школах о нем говорили... Да вот мой племянник Сехин, сын Михаила Сехина, родной племянник дяди Епишки, к Толстому в Ясную Поляну ездил, портрет с надписью для станицы от самого получил, только у него украли дорогой портрет этот.

— Как же это было?

— А уже это пусть сам Дмитрий расскажет. Он теперь служит в Кизляро-Гребенском полку. Вы можете повидать его хоть завтра, около Пятигорска, он под Юцой в лагере стоит. Кланяйтесь ему от меня...

Рано утром я приехал в лагерь под горой Юцой, верстах в шести от Пятигорска, и попал на ученье Екатериновдарского полка. Жара была невыносимая, пыль непроглядная. Ученье окончилось к полудню, и, пока расседывали коней и готовились к обеду, я воспользовался перерывом и отправился к Дмитрию Михайловичу Сехину.

Полки расположились рядом. Гребенцы уже вернулись с ученья, и я нашел Сехина в палатке. Вышел ко мне красавец-казачина с огромными усищами, в синих шароварах «шире Черного моря», в белой рубахе и огромной черной папахе. Он был весь покрыт пылью: еще умыться не успел.

— Я Сехин, вам меня? — сурово спросил он.

— Дмитрий Михайлович?

— Да, это я! Вам что угодно будет?

— А я к вам от Кирилла Григорьевича.

Я назвал свою фамилию. Оказалось, что Сехин знает меня как литератора. Он пригласил меня в палатку, и я передал ему наш разговор с Синюхаевым и цель моего приезда.

— Ну что же, я все вам с радостью расскажу. Эта встреча с великим Львом Николаевичем незабвенна, это лучшая минута моей жизни.

С его разрешения я вынул записную книжку, строки из которой я воспроизвожу сейчас.

«В Ясную Поляну я приехал 21 февраля 1908 года. Въезжаю. Снег. Аллея. Идут два мужика. Гляжу — один из них Лев Николаевич. Я спрыгнул с саней, подбежал, а он в снег свернул, лошадям дорогу дает. Подошел я, поклонился и говорю:

— Лев Николаевич! Необыкновенный случай: пятьдесят пять лет спустя внук за деда делает вам ответный визит.

Лев Николаевич не понял и строго посмотрел на меня. Я повторил мои слова.

— А! Палкин? — спросил меня Лев Николаевич.

— Нет, не Палкин, а внук дяди Ерошки.

Насупился Лев Николаевич, стоит и вниз глядит.

— Какого Ерошки?

— Того самого, у которого вы пятьдесят пять лет назад в гостях бывали, с которым охотились и которого в повести описали.

— Епи-ишки? Вот оно! — И лицо Льва Николаевича просияло. — Да не может быть! У Епишки и детей-то не было!

— А был брат Михаил Петрович, — я его сын, Дмитрий Михайлович Сехин.

— Сехин! Сехин!

Руку мне протянул и крепко пожал.

— А вы кто? Ротмистр? — И посмотрел на мою военную шинель.

— Нет, я войсковой старшина.

— А, значит, подполковник. Ну пойдёмте.

Он повернул к дому, а потом вдруг сказал:

— Да вы садитесь в сани! Поезжайте ко мне и скажите Илье Васильевичу, что мне надо еще десять минут погулять.

Я передал слова Толстого Илье Васильевичу, который и принял меня, поместив в комнате внизу. Через десять минут Илья Васильевич позвал меня наверх. Там были Горбунов-Посадов, Гусев и две переписчицы. Лев Николаевич вышел с сияющим лицом и отрекомендовал меня:

— Позвольте представить племянника моего дяди Ерошки.

И он начал меня расспрашивать о станице, вспоминая виденное им.

— А камышовые крыши еще есть?

— Есть.

— А сверстники мои живы?

— Ергушев Иван Варфоломеевич еще жив.

— А чихирь тот же? Какой прекрасный напиток! А рыбка шемайка?

— Мало, да притом очень измельчала.

— Жаль, жаль! А я отлично все помню: и Старогладовскую, и Старый Юрт! Горы — какая красота! Терек! Степи! Вот где настоящая жизнь! А Лукашка, брат Михаила Алексеевича! Да, да! Все помню. А как дом, где я жил? А дом Бабенковых, где жил брат Николай?.. А Епишкина хата?

— Все перестроено.

Лев Николаевич встал и сказал мне:

— Вот вам Гусев, расскажите ему.

Он вышел, но через пять минут вернулся, сел радостный и все вопросы о старине задавал.

— Забывчив, вообще, я стал. Но что тогда было — все помню!

Он опять встал и ушел, а через несколько минут позвал меня в кабинет. Я стал прощаться.

— Садитесь, куда вы торопитесь? Я еще не успел с вами поговорить.

— Но, ваше сиятельство... — начал было я, но Лев Николаевич перебил меня:

— Зачем так?..

— Как же мне вас звать? Звать Лев Николаевич — уж очень будет фамильярно.

— А вы меня по-гребенскому.

— Да у нас тех, кто старше тебя, зовут, как, помни-те, дядю звали: дядя Епишка.

— Стало быть, и зовите: дядя Левка. Это очень, очень почтенно! — Он засмеялся ласково-ласково.

Я попросил у Льва Николаевича для Старогладовской школы его портрет.

Он достал портрет и надписал:

«На память старогладовцам. Лев Толстой».

Я уехал обласканный, счастливый. Но дорогой случилась беда: у меня украли чемодан, а вместе с ним и портрет».

Довелось мне разыскать на Кавказе и еще одного старика-генерала, служившего в дни юности в одной батарее с Львом Николаевичем. Но от него я добился только одной фразы:

— Как же-с... Мы оба с ним имели честь служить в одной батарее, славный был офицер.

АНТОША ЧЕХОНТЕ

О встречах в моей юности я начал писать через десятки лет. Они ярко встали передо мной только издали. Фигуры в этих встречах бывали крупные, вблизи их разглядеть было нелегко; да и водоворот жизни, в котором я тогда крутился, не давал, собственно, возможности рассмотреть ни крупного, ни мелкого.

В те времена героями моими были морской волк Китаев и разбойничий атаман Репка. Да и в своей среде они выделялись, были тоже героями. Вот почему и писать о них было легко.

Не то — Чехов. О нем мне писать не легко. Он вырос передо мной только в тот день, когда я получил поразившую меня телеграмму о его смерти и тотчас же весь отдался воспоминаниям о нем.

Познакомился я с ним, когда он был сотрудником мелкой прессы, строчившим ради заработка маленькие этюдики и разбрасывавшим их по мелким изданиям. Мы вместе с ним начинали в этих изданиях — он писал сценки, я — стишки и тоже сценки да еще репортерствовал, что давало мне в те времена больше, чем его рассказы, малозаметные первое время.

Сперва у нас были мимолетные встречи, а потом началась дружба. Я полюбил Антошу, и он меня любил до конца жизни, хотя последнее время мы и отделились друг от друга.

В те годы, когда он еще ограничивался мелкими сценками, еще до издания его книжки «Сказки Мельпомены», я уже занял в «Русских ведомостях» солидное положение и, кроме репортажа, печатал статьи и фельетоны.

«Русские ведомости» считались «большой прессой», и Чехов появился в этой газете только в 1893 году, после того как печатался в 1892 году в «Русской мысли» и в 1888 году в «Северном вестнике», где была помещена его «Степь», которая произвела на меня огромное впечатление. И впоследствии этот рассказ был у нас с ним одной из любимых тем для разговоров. А до «Степи» он был для меня только милым Антошей Чехонте, рассказов которого, разбросанных по газетам и журналам, я почти не читал, — в кипучей репортерской жизни не до чтения было, да и не все газеты и журналы попадали мне в руки.